



В. ГЕРМАНОВ

Религия быта

(Розанов. Уединенное. Опавшие листья, т. I и II).

В. В. Розанов — писатель безответственный: по собственному признанию, он убеждения меняет, как перчатки, «ложь никогда его не мучила» — и по странному мотиву: «А какое вам дело до того, что я в точности думаю? Чем я обязан говорить настоящие свои мысли?» Трудно поэтому говорить об убеждениях Розанова. Но в последних его книгах, которые он сам выделил, как нечто интимное, «почти на правах рукописи», среди других задевающих, волнующих строк есть ряд мыслей, упрямо, настойчиво выражающих определенное отношение к религии и Церкви. Быть может, теперь от них и отречется сам автор, быть может, и они — только «занавеска», которой отделяет свое правдивое В. В. Розанов. То, что он сказал в «Уединенном» и «Опавших листьях», останется и при этом свидетелем уклона религиозной жизни, типичного для нашей русской церковности, широко распространенного, а потому интересного независимо от личности выразившего ее. Откровенность Розанова только приподнимает для всех воочию то, что не договаривается, прячется от самих себя в рядовом сознании.

На Розанова было вылито много желчи и гнева за эти книги. Их обвинили в жестоком цинизме. Едва ли это справедливо. Есть «цинизм от страдания». Не им ли объясняется, что Розанов заговорил о том, о чем никто никогда не посмеет говорить? И в этом его огромное общественное значение. Он — тот пункт, в котором только и может врач открыть наличность и качество гноя, заражающего организм. И счастье больного, что у него открылось такое место; и менее всего можно винить Розанова за то, что болезнь всего организма сделала его таким «противным» местом. Из любопытства остановиться на нем, конечно, нельзя: но изучающий болезнь не может и не должен ничего другого

питать к нему, кроме внимания и благодарности; то, что переживает Розанов, переживают и другие, но никто не говорит, всем стыдно; один лишь рассказал, признался.

И не «гений обывательщины», а только измученный общею, заразною болезнью, нестерпимыми страданиями доведенный до крика, до признаний, невысказанных в здоровом состоянии, человек, — вот кто Розанов, по нашему мнению. Болезнь — не обывательщина; по крайней мере, доводящая до крика, до цинизма. Больного нельзя упрекать и в непоследовательности, в неверности своим словам. Розанов не только меняет убеждения, но одновременно говорит об одном и том же и «да» и «нет». Здоровому простить этого нельзя. Но в болезни это становится понятным.

Что Розанов обладает огромной силой, факт неоспариваемый и его противниками. Любопытно, что есть немало поставленных ему в вину мыслей, которым можно поставить в параллель Пушкина, но которые у Пушкина забыты. Эта-то одаренность, быть может, и сделала его центром болезни, средоточием, а отсюда и откровенность.

Ныне Розанов говорит о своей преданности Церкви, церковные круги уверенно твердят о его церковности. Вот это приятие в «недра» Церкви и делает его особенно интересным для христианской мысли. Его болезнь принята за благочестие; его ужас оказался исповеданием веры многих: приняли и сказали: «Ты — наш!».

Да и сам он верит в это, по крайней мере, в минуты подъема боли, страдания. Но и здесь он прозорливее других. Он сам видит и боль свою, источник его «веры», и веру других.

Религия больного, конечно, не догматика, не система, а чувство. И подходить к ней можно только «психологически», от фактов. Пусть это не помешает читателю всмотреться и в общий их смысл, в то типичное, чем характерна религия Розанова.

II

«Кто не знал горя, не знает и религии». «Когда болит душа, тогда не до язычества». С этого начинается религия Розанова. От боли она. Об этой боли Розанов говорит очень много.

Одиночество, пребывание за «ужасной занавеской, из-за которой не то, чтобы я не хотел, а не мог выйти. Это — не физическая стена, а духовная, о, куда страшней физической!» — вот первая мука Розанова. Всюду он чувствует себя «иностранцем», не связанным ни с кем и ни с чем в жизни. «Страшное одиночество за всю жизнь, — признается он, — с детства. Все мне чуж-

до, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью. Что бы я ни делал, кого бы не видел, не могу ни с чем слиться... Не от этого ли я так бесконечно люблю человеческую связанность, людей в связанности, во взаимном милowaniu, ласкании. Ничего я так не ненавижу; ничему так не враждебен, как всему, что разделяет людей, что мешает им слиться, соединиться, стать одним; надолго, на время — я даже не задаю вопроса; конечно, лучше на вечность; а если нельзя, то хоть на какое-то время». Кажется, что это — рок, судьба, такова уж природа Розанова, что он не может подойти к людям. Не может потому, что вообще не может что-либо сделать, употребить усилия: «воли к жизни» у него никакой; никакой воли, силы нет и для поисков, для напряженного делания во имя любви.

Любовь для него — «милование, ласкание». Он много раз возвращается к ней. Это — тепло, уют, ощущение на себе любви другого: «Видеть лучшее, самое прекрасное и знать, что оно к тебе привязано — это участь богов». «Любить — значит не могу без тебя быть, мне тяжело без тебя, везде скучно, где не ты». Подлинно, для Розанова это — самое точное описание любви. Атмосфера, его окружающая, вот что от любви ему нужно. Вне этого — «глубочайшая субъективность», запрятывание себя за занавеску. И потому — полное равнодушие к «постороннему». «Истинное отношение каждого только к самому себе. Даже социалист фальшивит немного в отношении к социализму... В этом отношении какой-то далекой хотя и тусклой звездочкой является эгоизм, — “я” для “я”, мое “я” для меня. Это — грустно, это страшно. Но это — истина». «Вот почему с такой силой и так часто возвращается Розанов к «другу», к семье, к тем любимым, которые около него создают тепло и уют жизни. Пока жизнь складывалась без нарушений этого семейного уюта и тепла, и жилось Розанову спокойно, он «жил — по мотиву, т. е. по аппетиту, по вкусу, по “что хочется” и “что нравится”». «Я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон». Привязанность Розанова к быту, жизни во плоти и создала его произведения. Во имя защиты семьи, как уюта и тепла, во имя этого очага он выступил и против христианства, и против всего, что мешало этому счастью. Пока его личное тепло не было затронуту, он спокойно думал: «Если бы не любовь друга, и вся история этой любви, как обеднилась бы моя жизнь и личность!» Потому что вне этого, личного в Розанове все — пусто. Он болеет от одиночества, но только потому, что ему нужны люди, ему хочется чувствовать их около себя: только в любимом, в «друге» — он отыскал «что-то нужное мне; тогда как суть стены и есть «ненужен я», «не нужно мне»».

— Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа — вот мое 17-е октября. Люблю чай, люблю положить за платочку на папиросу. Люблю свою жену, свой сад...

Все это утрировано. Но смысл глубоко правдив. Жизнь в ее непосредственных ощущениях давала Розанову полное удовлетворение, а за октябристов он «подавал», сознавая, что они «болваны»: просто потерял бюллетень другой партии. Вот почему так понимает он язычество, любовь к земле, к вещам, к быту. Ему дорого все, что дает быту уют, тепло, привычный покой. «В счастье человек — естественный язычник. Я был очень счастлив и невольно впал в язычество. Присуще счастливому быть язычником, как солнцу — светить, растению — быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным».

Но пришли скорби, страдания близкого человека. Склонилась собственная жизнь к закату. Увидел человек, что все эти радости погибают, «суета и томление духа», и пред лицом надвигающейся смерти почувствовал ужас от жизни. «Не странно ли прожить жизнь так, как бы смерти и не существовало? Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было. Я говорил о браке, браке; а ко мне шла смерть, смерть, смерть... Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь». «Закатывается, закатывается жизнь. И не удержать. Как все изменилось в мысли соответственно этому положению!» «У, как я хочу вечного».

И в этом страхе перед смертью Розанов прибежал к Церкви. «Боль мира победила радость мира, — вот христианство». Розанов не прочь вернуться к радости, тревожится еще язычеством, но мог бы вернуться к нему, «если бы совсем выздороветь, и навсегда — здоровым».

«Тихие, темные ночи...

Испуг преступления...

Тоска одиночества...

Слезы отчаяния, страха и пота труда

Вот ты — религия.

Помощь усталому...

Помощь согбенному...

Вера больного...

Вот твои корни, религия... Вечные, чудные корни»...

Поистине, «страх первый создал религию» Розанова.

III

В Церковь Розанов скрылся от ужаса и холода жизни. В ней ему дороги тепло, уют и свобода от небытия. Что это мотив вполне христианский, несомненно. Воскресение Христа есть победа над смертью. Но Розанов, кроме этого, ничего в Церкви не хочет и признавать. — В храме слышит он «Верую».

«Не слушаю... Ну его, византийское богословие. И вдруг слух поражается: “Чаю воскресения мертвых”»...

Кроме этого, никакого символа Веры для Розанова нет. Ранее он ни в воскресение, ни в душу, ни во Христа не верил. Тяжелая болезнь любимой, закат собственной жизни привели к «христианству»:

«Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь? Неужели думать: “Встретимся, воскреснем?”».

«Смерть не страшна тому, кто верит в бессмертие. Христос указал верить. Но как я поверю Христу? Значит, главное в испуге моем — неверие в Христа?»

Но «из великой космологической тоски при разлуке в смерти получается, что за гробом “встретимся”. Это как вода течет, как огонь жжет, и хлеб сытит: так душа не умирает в смерти тела». А Церковь «непрерывно, без колебаний» повелевала верить в бессмертие; о сомневающемся она говорила: ты — не мой. Нельзя представить себе простого дьячка, который бы сказал: “Может быть, бессмертия и нет”. Всякий дьячок имеет уверенность в том, до чего едва додумался и едва имел силы посягнуть Платон». Поэтому, — «Иду в церковь, иду, иду!» И — «Даже если все будет здесь полно червями и тлением, я останусь здесь. С глупыми останусь. С плутами останусь. Почему? Здесь говорят о бессмертии души. О Боге. О вечной жизни. О наградах и наказаниях».

Но это — не одно. «Как же я мог умереть не так и не там, где наша мамочка? И я стал опять православным». Это любопытная черта для всего религиозного сознания Розанова: в церкви для него ценно то, что она сохраняет ему все дорогое, любимое. Вечность для него — непосредственное, прямое продолжение настоящего, в его точной форме: «Не то, чтобы душа Шперка была бессмертна; а его бороденка рыжая не могла умереть. А “душа” его бессмертна ли — не знаю, и не интересуюсь. Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки в сапоге, которая и не расширяется, и не заплатаывается с тех пор, как была. Это лучше “бессмертия»

души”, которое сухо и отвлеченно. Я хочу на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше».

Весь быт, всю землю хочет Розанов перенести туда, за гроб. За этим нужна и Церковь. Вот почему церковность для Розанова — ласка, уют, «тепло быта».

«Да что же и дорого-то в России, как не старые церкви? Уж не канцелярии ли, не редакции ли? А церковь старая-престарая, и дьячок “не очень”, и священник тоже “не очень”, все с грешком, слабенькие. А тепло только тут. Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хоронили тут мамашу, братьев, похоронят меня; будут тут же жениться дети; все тут... Все важное. И вот люди надышали тепла!» Поэтому никакая реформа в Церкви не нужна: она сотрет «позолоту времен», а это хуже, как бы ни было плохо настоящее:

«Черви изгрызли все... И тернии, и сор, и плевелы везде... прибить заплатку — уродливо, не подновлять — все рассыплется... ненавижу — люблю... всего надеюсь — все безнадежно... но здесь — други, только здесь живет бессмертие души».

«Я не хочу истины, я хочу покоя... Лучше суеверие, лучше глупое, лучше черное, но — с молитвою».

С такой нищетой духа подходит Розанов к Церкви. У нее ищет он спасения от смерти, от ужаса небытия (яркое выражение этого — «Опавшие листья», с. 3), она — единственное теплое место в мире. Там, где все застывает в ужасе, она сумела, нашла силы произнести такие удивительные слова, каких мы не сумеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге. Она всякого умирающего человека почувствовала так близко, так около «души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя. А в современной светской цивилизации «нет ни одной капельки той любви, того безбрежного уважения к человеку, какие сказаны были церковью при созидании этих погребальных обрядов, слов, песнопений, чтений, сказаний».

Почувствовав в церкви теплоту, Розанов во всем хочет от нее такого же отношения. Столкнувшись и тяжело пережив в своей жизни «суровость» брачных законов Церкви, он нестерпимо относится к ней здесь; но все же верит, что в ней хранится ласка и тепло. Путь к ним — молитва. Опять таки, крайне важно его признание, что постоянная молитва его жены приручила его к этому: «За годы, когда я постоянно видел около себя молящегося человека. мог ли я не привыкнуть, не воспитаться, не убедиться, не почувствовать со всей силой умиления, что молитва есть лучшее, главное?». Молитве научает Церковь; никто, кроме нее не догадался подойти со словом к умирающему, к роже-

нице. И молитва разлита, как свет, по всей стране. Кто не ленив — приходи все. Даже «неграмотным она дала способ молитвы: зажгла лампаду старуха темная, старая и сказала: “Господи, помилуй!” (слыхала в церкви, да и сама собой скажет) и положила поклон в землю. И помолилась, утешилась. Легче стало на душе у одинокой, старой. Кто это придумает? Пифагор не откроет, Ньютон не вычислит. Церковь сделала! Поняла! Сумела!».

Молитва около умирающего и рождающей, молитва без слов, «придуманная» церковью — вот что дорого Розанову. «Без молитвы нельзя жить, без молитвы — безумие и ужас». Потому что человек — слаб, бессилён: «Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва — где я не могу. Где я могу — нет молитвы». «Кто молится — победит всех, и святые будут победителями мира... Мой выбор решен: молитва — и ничего. Нет: молитва — и игра. Молитва — и пиры. Молитва — и танцы. Но в сердцевине всего — молитва. Есть молящийся человек — можно и все... Все будет дозволено, потому что все будет замолено».

Кому же молится Розанов? Богу? Но что такое Бог Розанова? «Моя вечная грусть и радость. Это Кто-то. Это — лицо. Мой Бог — Бог особенный. Это только мой Бог и еще ничей. Мой Бог — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Бог — и моя интимность, и бесконечность, в коей самый мир — часть». Как в бесконечности, Розанов чувствует себя в Боге: «И все держит меня рука твоя — это я постоянно чувствую».

«Бог охоч к миру. А мир охоч к Богу. Вот религия и молитва». Словно около материнской груди чувствует себя Розанов «где-то закутавшимся в персях мира и вечно сосущим из них молоко». «И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня. Потому-то я и люблю Бога».

Бог приходит на вздох, на молитву человека. Зов — вздох, молитва — ищут в Боге укрепы того же тепла, каким когда-то обладал Розанов, пока все было в жизни хорошо. Оттого и эта тоска.

«Язычество — утро, христианство — вечер. Неужели не настанет утро, неужели это — последний вечер?»

Конечно, не настанет. Это знает Розанов, как и все: «боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни; вот отчего религия всегда будет одолевать философию». И в душе Розанова «христианство» одолело язычество.

IV

Но христианство в своем полном содержании имеет нечто для Розанова чуждое и неприемлемое, к чему он чувствует «враждебную нерасположенность», так что от роду никогда не любил читать Евангелия: не влекло. Любопытно, что он даже «особенного ничего не находил» в нем. Чтобы понять это, надо вспомнить, что основа Евангелия — внутренний процесс преображения человека, перевоспитания. Начиная с покаяния, вся жизнь христианина есть внутреннее делание, процесс напряженной работы над собой. Не только от смерти, но и от греха спасает Христос. И это освобождение от морального зла есть тяжкий подвиг, преодоление себя во многом, прежде всего — в своей самости, в эгоизме. Розанов сам признает себя неспособным к действию: он — созерцатель, лишенный «воли к жизни», к работе. И эта обломовщина, природная лень души связала его неразрывными узами с тем, что дано ему в жизни. Он любит быт, любит действительность; зная ее недостатки, ее мерзость, он, однако, ничего другого не хочет. Отсюда — вся жизнь прошла «по вкусу, т. е. что хочется, то и нравится». Поэтому он доволен собой, не хотел бы быть хорошим: «скучно!». Это примирение с данностью звучит чуть не на каждой странице розановской исповеди, хотя он часто говорит и о грусти, и о боли жизни. Уверьте его, что все его покойное существование будет вечно с ним, — и вся боль его, кажется, исчезнет. И литературная деятельность исходит из инстинкта, из потребности писать, без мысли о читателе, о правде момента. Даже связать момент с другими у него нет желания и охоты. Тем более чужда ему заповедь Евангелия подводить всю жизнь под известные принципы.

— «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душенька выпущена была погулять на белый свет, и вдруг я бы ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй по морали! Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славенькая, гуляй, добренькая, гуляй как сама знаешь, а к вечеру пойдешь к Богу. Ибо жизнь моя есть день мой, а не Сократа или Спинозы».

Здесь не договорено. Но в позднейшем отрывке он спрашивает: — Кто приведет меня ко Христу?

Отношение Розанова ко Христу двоякое. Страдание, угроза разрушения жизни «прорвала» радостный позитивизм, испорчила его. «Хочу чуда! Боже, дай чуда!» Этот прорыв и есть Христос. Он плакал. И только слезам Он открыт. Христос — это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ,

поразительное событие... Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и кресте? Т. е. что Он дал образ человеческого страдания, как бы сказав или указав или промолчав:

— «Чадца Мои! Избавить Я вас не могу (все-таки не могу! о, как это ужасно!); но вот, взглядывая на Меня, вспоминая Меня здесь, вы несколько будете утешаться, облегчаться, вам будет легче — что и Я страдал.

— Если так: и Он пришел утешить в страдании, которого обойти невозможно, победить невозможно, и прежде всего в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях, тогда все объясняется. Тогда — Осанна! Но так ли это? Не знаю».

Пусть Розанов был смирен страданием и приведен к такому Христу. Это еще не христианство, не Евангелие. «Я — путь, истина и жизнь». Розанов истины не хочет, не ищет, а потому и Христа не знает. Для него достаточно Зевса или Аполлона, только сильного и людям подавать нектар и амброзию, радость и бессмертие. Среди олимпийцев Розанов был бы вполне счастлив. А это — измена основному содержанию христианской жизни. Потому что Евангелие приходит к человеку и с нравственными нормами, с заповедями.

«Даже не знаю, через **Ѣ** или е пишется “нравственность”. И кто у нее папаша был, не знаю, — и кто мамаша и были ли деточки, и адрес ее — ничего не знаю». Розанов — не враждебен нравственности, а просто «не приходит на ум». И когда говорит он о совести, то нельзя не чувствовать, насколько больше искренности в таком признании:

«Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти. Или еще: это — золотые рыбки, играющие на солнце, но помещенные в аквариуме, заполненном навозной жижицей. И не задыхаются. Даже “тем паче”... Неправдоподобно. Но это так».

И это действительно так. По страницам исповеди рассеяно немало и нежного чувства, и любви, и теплой человеческой грусти. Есть строки, вызывающие отзвук сердца. И не только в милых рассказах о своих детях, в интимных переживаниях около друга таков он. Много острой, волнующей и высоко моральной правды говорит он и о широкой жизни, об общественности. Глубокая мысль, пронизывание и психологичность делают его речи сильными и вескими. Но рядом с ними — такая «навозная жижица», от которой задыхаешься, от которой пахнет гниением смерти. А для него «даже тем паче». В нем нет зла в яркой, сатанической форме. «Демонизм» ему чужд и навязывается совершенно несправедливо. По его же выражению, все недостатки, пороки его — не огненные, а мокрые, приистекавшие «или из

мелкого любопытства ума», или «так, распустился». Это — та теплохладность, равнодушие к добру и злу, которые в Апокалипсисе признаны отвратительнейшими для человеческого сознания:

— О, если бы ты был холоден и горяч! Но как ты тепл, а не горяч или холоден, то изблюю тебя из уст моих!

Такое же чувство вызывают и иные строки розановщины. В них чувствуется полная атрофия нравственного суждения, цинизм в подлинном смысле слова. Вот иллюстрации.

— «Какой хотели бы вы, чтобы вам поставили памятник? — Только один: показывающий кукиш зрителю».

— «На мне и грязь хороша, потому что это — я».

— «Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков? Это — что частная жизнь выше всего. Никто этого не говорил, я — первый. Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца. Ей-ей, это общее религии... Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть вдаль».

Что это — равнодушие, не «злая мысль», признается сам Розанов:

«Чувства преступности у меня не было никогда; но всегда было чувство бесконечной своей слабости. Это — странная потеря своей воли над собою, над своими поступками, выбором деятельности. Я всегда шел в растворенную дверь, и мне было все равно, которая дверь отворилась. Никогда в жизни я не делал выбора. И всегда мысль: “Бог со мною”... и шел по безынтересности, в какую дверь войду. Я входил, где было жалко, где было благодарно. По этим двум мотивам я думаю все же, что был добрый человек».

Природная доброта, мягкость души — не весь Розанов. В ряде изумительных, исключительных по откровенности признаний он раскрывает и другую половину своей души, повторяем — не преступную, не душу, павшую в бездну, а тину мелочей, опутывающих душу, «мелкого беса» пошлой грязной обыденщины во всей ее непривлекательности. Без «силы выбора», без морального суждения, Розанов все это принимает в себе: «потому что это — я». В отношении к одному типу греха он прямо ставит вопрос: «Почему это грех? Какие доводы? Где доказательства?» Конечно, доказательств никто ему указать не сможет. Нет доказательств красоты, добра, правды, кроме: «прииди и виждь». Но при атрофии соответственного чувства можно и «видя не видеть, и слушая не слышать». Как же тогда «доказать»? Только на почве природного нравственного сознания решается этот вопрос. Чуждый моральной ясности Евангелия, Розанов и испытывает недоумение:

— «Нет, чувствую, предвижу, что, не пристав здесь, не пристану и туда. Неужели же не только судьба, но и Бог мне говорят: «выйди, выйди, тебе и тут нет места?»»

Где же место Розанова?

Для христианского сознания место каждого человека определяется воззрением, по которому все человечество — единая семья, проникнутая одной кровью, одним жизненным началом. В Церкви это единство усиливается питанием от Единого Тела. Личность каждого — орган одного великого организма. Вот этого ощущения своей равноценности с другими и нет у Розанова. Его мироощущение исключительно ценит себя, ставит себя в центре мира. Отсюда — его холодность к миру: «живи и трудись, как бы никого не было». Ему только кажется, что он морально примирился с христианством. Какое же это примирение:

«“Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас”. Не могу. Флюс болит».

Собственный флюс убил все евангельское содержание. Оттого, что «не хочется» думать о других; оттого, что, по убеждению Розанова, истинным может быть только отношение к самому себе, и эгоизм кажется ему чуть ли не единственной «звездочкой, хотя и тусклой».

Оттого и любовь Розанова принимает языческий характер. Ему нужны «милованье» и ласка. Но та любовь, которая дана как христианская заповедь, любовь, полагающая душу свою за любимого, Розанову чужда. Не только сейчас, не только от флюса, но всегда, потому что ему «душа» своя, покой свой дороже всего на свете. Он иногда говорит о грехе, о покаянии, совести. Какие пустые слова! За ними не чувствуется никакого жгучего духовного опыта, горячности переживания. Это легкие тени, случайно пробегающие, неуловимые и незаметные для него самого. Гораздо сильнее звучит:

— И все будет дозволено, потому что будет замолено!

А Евангелие остается, как предмет почитания, в золотом переплете, окованное и нераскрытое. Оно для Розанова — фетиш, а не живое слово о жизни. Потому что нельзя раскрывать Евангелие тому, кто ставит себя в центре мира: оно осудит его последним судом. Нет величайшего греха, чем себялюбие, потому что одна великая заповедь Христа — любовь к ближним. И нет горшего извращения Евангелия, чем применение его к устройению личного покоя и блага. Индивидуализм, «эготизм» признает в себе и сам Розанов. И не борется с ним, а принимает его как

норму жизни. В этом второй его грех против Христа. Привязанность к тому, что окружает, в сущности, исходит из этого корня — из индивидуализма, из переоценки себя и своего.

V

Религия Розанова — религия инертного мечтания, без борьбы с грехом и без жизненного подвига. Он весь поглощен бытом, и в церкви ему дороги только тепло, уют, которым вне церкви грозит смерть. Как знакомо это благочестие быта, эстетики, привязанности к земному теплу! Ведь это — типичнейшее русское явление. И религиозное сознание Розанова — типичнейшее исповедание веры «православного русского человека», простолюдина ли или богослова, иерарха — безразлично. Вот почему и грех Розанова приходится считать не его личным грехом, а грехом всей нашей церковной действительности.

Религиозный эстетизм как привязанность к вековому, старому, хотя бы и устарелому, обветшалому, грозящему разрушением, — разве это не идеология старообрядчества, которой проникнуты и современные охранители церковности? Чем иным можно объяснить, кроме привычки уюта, эту упрямую защиту ненужного, мелочного, порою лишнего смысла? Разве не то же умиление пред молчаливой молитвой старухи побуждает так бережно хранить славянский, неисправный, темный текст богослужения? Разве свечечки великого четверга не заслоняют заботы о разумном богослужении, об осуществлении апостольского: «помолюся духом — помолюся и умом»?

И эта характеристика желательного кандидата в митрополиты: «Молчаливость, тихость и послушание... если при этом хороший рост, мелодичный голос и достоинство манер и обращения, то такому кандидату не страшен был бы соперником и Филарет, и Златоуст, и все «три Святителя»!¹. И с этим нельзя не согласиться; Розанов только посмел сказать то, о чем молчат. Но разве это не правда?

Дороги лампадки в комнатах, свечечки четверга, золотые оклады на Евангелии. А в самое Евангелие заглядывать не надо. Пусть «ревет» дьякон, но так, чтобы разобрать нельзя было. Иначе встанут «недоумения», придется исправлять кое-что. Лучше мириться со всем во имя «позолоты времен», хотя бы «добропорядочность» и отсутствовала.

— «Бог с вами. Прощаю вашу каменность, извиняю все глупое у вас... Фарисеи вы... но сидите-то все-таки на седалище Моисеевом. Был некто,

кто, обратив внимание на ваше фарисейство, столкнул вас и с вами вместе и самое седалище. Я наоборот — ради значения седалища, которое нечем заменить, закрываю глаза на вас».

Немного неточно. Закрывать глаза значит не видеть. Такого прекраснодушия у Розанова нет. Он видит и резко называет вещи своими именами: видит в церкви «и тернии, и сор, и плевелы везде», «и смирение, переходящее в трусость, попустительство и ренегатство», знает, что «полуискренность сопутствует теперь всем делам церковным, уклончивость и умолчание». Но это его не беспокоит. Разве это мешает тому, чего ищет от религии Розанов? Разве чрез это бессмертие становится дальше, уничтожается? Разве от этого холоднее в мире ему самому? О чем же думать, из-за чего волноваться?

Розановское понимание религии — типичный индивидуализм. Ни до кого никакого дела ему нет. Столько говорит он о любви, тоске по ней. Но всюду это — желание, чтобы его полюбили, и давали ему тепло. Его любовь — «не могу быть без тебя, мне тяжело без тебя». Но любовь, себя отдающая для другого, идущая на гибель во имя любимого, для Розанова не существует; о ней он не обмолвился ни словом. Он озабочен тем, чтобы оставить несколько десятков тысяч семье, но далее этого любовь — жертва его ни в чем не выражается, не в делах, а в мечтах... И это — понятно: у него же нет никакой «воли к жизни», он неспособен ни к какому напряжению деятельности.

Религиозно-общественного подвига здесь искать нельзя. Со всем можно примириться. А в утешение — оставить себе молитву:

— «Нужно мирянам “на сон грядущий” произносить молитву: Господи, не отними от нас святую Твою церковь. И устрой ее в правде и непопечности, как Невесту Свою. Вот и все».

Пусть Бог устраивает Свою церковь. Человеку довольно заботы о том, чтобы не растерять «своих животных», своего тепла. Но и здесь лишенная «воли к жизни», безмолвная, ленивая душа выбирает не требующее напряжения средство — «молитву». О, не молитву аскета, не всеобщее бдение. Нет, с «опозданием», на минутку, как «вдох», зов, тоска и тяготение к сильному. Аскеты знают такую молитву только на вершинах подвига, после долгого тягостного труда. Для Розанова она — единственное религиозное дело, вот сейчас, в суете жизни, около вычислений над процентными бумагами.

Как и не молиться, когда «все позволено, потому что все будет замолено»!

Это гораздо легче, чем преобразование жизни, воплощение христианского настроения на место природного зла. Не только гореть болью за других, за всю церковь, даже о своем внутреннем зле думать «не хочется». Да и не нужно, раз весь смысл веры — в спасении от смерти, в спасении своего тепла жизни. Сурово обличает «пустоту сердца» Розанов у реформаторов церкви. Но какое же содержание и нужно для участия в той церкви, что питает самого обличителя? Только тяга к месту, «в котором надышали тепла» родные, к «позолоте веков». Только любовь к уюту и своим близким, жажда навеки сохранить их. Недаром и сам Розанов исповедуется в пустоте, в безразличии к ценному, в привязанности к мелочам.

Не оттого ли и «молитва» его — лампадка, свеча, гривенник на записку «о упокоении»? Но ни слова о необходимости первого шага ко Христу — раскаяния, переворота в самом процессе жизни. Мораль и сейчас отскакивает от Розанова, не затрагивает и его религию. Какими тощими, пустыми и лишенными жизни звучат его слова о грехе? Здесь даже толстовского самоанализа нет, нет и «тоски о морали». Единственное беспокоящее чувство — «не было ли от меня боли?» Опять — в пределах покоя, тепла. И здесь опять мы слышим знакомый голос русского благочестия, так легко уживающегося с нравственным индифферентизмом.

Здесь мы подходим к выяснению последнего источника «розановщины» в религиозной области. Христианство есть религия спасения от смерти и греха. Если преодоление зла физического совершено Христом, то победа над злом моральным может создаваться только силами и подвигом самого человека, окрепшего чрез благодатный дар свыше. Исходный пункт христианской жизни — возрождение. Процесс ее — постоянное делание, перевоспитание себя, освобождение от греха. Только в этом направлении и возможно усвоение христианства, подлинное православие. Но для этого необходим подготовительный путь Крестителя, внутренний переворот. Вот почему так дорога в религиозном смысле школа Достоевского в нашей литературе: она открывает глаза человечеству на греховность природы, заставляет здесь пережить отчаяние и искать спасения от этого зла. Пока это не пережито, не прошла болезнь духовного переворота, христианство остается силой внешней, слабо затрагивающей сердце, а чрез это легко подвергается искажению и подчиняется влияниям наследия языческих времен.

Так случилось и с русским православием. В течение ряда веков народ наш оставался привязанным к внешней стороне цер-

ковной жизни, старообрядчество лишь выразило то, чем была больна вся русская церковь. Вера в обряд, в «позолоту веков» шла рука об руку с небрежением к евангельской морали, к самой церковной жизни в смысле осуществления ею заветов Христовых. За христианство держались как за средство помощи здешней, земной жизни, в нем искали источника благополучия, довольства. Отсюда — индивидуалистический уклон, потеря большинством единственной заповеди Спасителя, величайшей основы Церкви. Отсюда же — то странное на первый взгляд явление, как совмещение церковного благочестия с нравственным безразличием, о чем недавно писал А. Блок:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой, от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.
Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
.....
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом перелистать купоны,
Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...²

Разве это — не то же, что говорит о себе Розанов? И это — не его только, даже не бытовое только явление русской церковности. Нет, здесь ярко выражена идеология значительной части руководителей Церкви. В связи с этим настроением создано целое мирозерцание, которым определяются и судьбы церкви в будущем.

Здесь «система» православия, корень церковного консерватизма. И здесь — могила для всяких попыток внести в церковь обновление. На все тревоги и заботы ответ дает сам же Розанов.

Православие в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу.

Да, розановское православие никакой тревоги не терпит. Покой, тепло, обещание вечности — вот и все. Но знает ли он аскетов, их исповеди? Знает ли он, что тревога души — наиболее частый путь к Евангелию?

Быть может, и знает. Но ведь это — Евангелие. Церковь для него — явление иного порядка.

Он знает, как далек он от Евангелия. И — любопытно — при всей его откровенности, при всех его «ересях» (а чего-чего он не говорил в своем раздражении за каноны о браке и разводе?) все прошлое его забыто, борьба с церковью прощена, и он ныне — любимое детище «православия». Такая любовь — исключительное явление. Объяснение ее можно найти только в внутреннем сродстве розановщины с официальным православием, в единстве духа.

В этом и значение исповеди Розанова. Он осмелился высказаться до конца, раскрыть все содержание одного из широко распространенных и влиятельных типов русского понимания православия. В этой наготе, в беспримерной откровенности Розанов вскрыл чуть ли не все язвы русской религиозной болезни. Он коснулся не канонов, не внешних форм, а корня, самого существа религиозной жизни. И поставил точку, после которой сказать нечего. В этом — его оригинальность. Но это — не оригинальность идеи, содержания. Дело только в решимости сказать то, чего никто не может договорить.

«Розановщина» для церковной жизни — то же, чем была «обломовщина» для дореформенной общественности.

